

Александр Куприн

Трус



Александр Куприн

Трус

«Public Domain»

1903

Куприн А. И.

Трус / А. И. Куприн — «Public Domain», 1903

«Шабаш только что окончился, но в винном погребе Айзика Рубинштейна было уже так тесно, что запоздалые посетители не находили, где присесть, и пили, стоя около чужих столиков. Сквозь туман испарений, выдыхаемых толпою, сквозь синие слоистые облака табачного дыма огни висячих ламп казались желтыми, расплывчатыми пятнами, а на каменных ноздреватых сводах погреба блестела каплями сырость. Двое прислужников, в черных передниках и кожаных нарукавниках, едва успевали разносить по столам мутное бессарабское вино, которое сам Рубинштейн, стоя за прилавком, цедил из двух больших бочек в графины...»

© Куприн А. И., 1903

© Public Domain, 1903

Содержание

I	5
II	9
III	12
IV	14

Александр Иванович Куприн

Трус

I

Шабаш только что окончился, но в винном погребе Айзика Рубинштейна было уже так тесно, что запоздалые посетители не находили, где присесть, и пили, стоя около чужих столиков. Сквозь туман испарений, выдыхаемых толпою, сквозь синие слоистые облака табачного дыма огни висячих ламп казались желтыми, расплывчатыми пятнами, а на каменных ноздреватых сводах погреба блестела каплями сырость. Двое прислужников, в черных передниках и кожаных нарукавниках, едва успевали разносить по столам мутное бессарабское вино, которое сам Рубинштейн, стоя за прилавком, цедил из двух больших бочек в графины. Это вино приятно было пить, особенно после острого козьего сыра, подававшегося к каждому графину, но, выпитое в большом количестве, оно кидалось в голову, делало человека крикливым и вспыльчивым и толкало к ссорам. Посетители говорили между собою, что Айзик настаивает это вино на табаке пополам с беленою, но все-таки продолжали ходить в его погреб, который был биржей и клубом для еврейского населения маленького пограничного городишки.

Жаргонный говор, то стремительный и раскатистый в середине фраз, то завывающий на окончаниях, несся отовсюду, сопровождается яркой мимикой и оживленными, преувеличенными жестами. Со стороны можно было подумать, что в погребе разгорелась общая ссора и что все посетители говорят одновременно, не слушая и стараясь перекричать друг друга. Но этот гвалт был в заведении Айзика самым обычным явлением.

Кто-то застучал ладонью по столу, как это часто делают в синагоге, чтобы прекратить шум.

– Ша! – выкрикнул резко и требовательно чей-то голос.

И десятки рук также застучали по столам, и со всех сторон нетерпеливые голоса подхватили это восклицание:

– Ша!..

На середину погреба вышло двое бродячих актеров. Один из них был небрежно и грубо загримирован стариком: куски ваты, приклеенные под носом, изображали усы, такие же белые комки спускались от щек и подбородка длинными закрученными висюльками. И все-таки, несмотря на свое убожество, этот наивный грим придавал голове актера странное и трогательное сходство с лицами ветхозаветных пророков. Длинный лапсердак старика, умышленно разорванный и заплатанный во многих местах, был в талии обмотан красным кушаком. Другой актер, рослый мужчина с короткой бородой и равнодушно-наглыми, влажными, большими глазами, был без грима и держался несколько позади старика.

– Ша!.. Тихо!.. – крикнул из-за прилавка Айзик Рубинштейн и звонко шлепнул ладонью по бочке. Шум сразу упал, перейдя в густое, протяжное гуденье.

– Это Цирельман!.. Старый Герш Цирельман, – передавали от стола к столу. – Цирельман будет давать представление.

Черные курчавые головы, в картузах и ушастых меховых шапках, повернулись назад, туловища жадно вытянулись, черные пламенные глаза с напряженным ожиданием впились в актеров.

Цирельман поднял кверху руки, отчего рукава лапсердака сползли вниз и обнажили худые, костлявые, красные кисти, закинул назад голову и возвел глаза к закопченному потолку. Из груди его вылетел сиплый, но высокий и дрожащий звук, который долго и жалобно вибрировал под низкими сводами, и когда он, постепенно слабея, замер, то слышно было, как

в погребу быстро затихали, подобно убегающей волне, последние разговоры. И тотчас же в сыром, тяжелом воздухе наступила чуткая тишина.

Старик медленно и громко вздохнул, уронил голову набок и беспомощно, с усталым видом, бросил руки вдоль тела. Постояв так несколько секунд и точно собравшись с силами, он горестно замотал головой и запел тихим, стонущим речитативом, с долгими паузами, во время которых было слышно, как шипел керосин в лампах:

– Благословен бог наш, бог сильный, приведший меня к порогу этого дома... О, как труден был мой путь! Какие знойные дни, какие страшные ночи!.. Острые камни ранили мои ноги, колючие шипы рвали мои одежды... Но вот наконец эта мирная кровля, под которой живет мой сын, мой возлюбленный, прекрасный первенец Абрам. Его сердце нежнее, чем цветок яблони... Он омоет горящие ноги старого отца, он оденет его в лучшие одежды... Вот я стучу в твои двери, сын мой. Слышит ли твоя душа, кто стоит у порога? Спешите же, отвори скорее, любимейший из моих сынов!

Стоявший сзади чернобородый мужчина засунул руки в карманы панталон и, безучастно закрывши глаза, пропел заученные слова:

– Кто там стучит у ворот? Ночь холодна, я лежу в постели и не выйду наружу.

– О сын мой, разве твоя душа не дрожит и не рвется мне навстречу? Это я – тот, кто дал тебе жизнь и свет. Это я, твой несчастный, больной, старый отец. Отвори же, отвори скорее: на улицах голодные псы воют на луну, а мои слабые ноги подкашиваются от усталости...

Он замолчал, тихо и скорбно покачивая головой. После первых же фраз слушатели привыкли к глухому и сиплому тембру его голоса и теперь глядели на Цирельмана не отрываясь, захваченные словами старой национальной мелодрамы. Убогая обстановка не мешала этим страстным подвижным натурам, жадным до всяких театральных зрелищ, видеть в своем пылком восточном воображении: и пустынную улицу, озаренную луной, и белый домик с каменной оградой, и резкие, черные тени деревьев на земле и на стенах.

Сын наконец узнал отца и отворил двери своего жилища. Ветхозаветный пророк весь дрожал от волнения, и вместе с ним тряслись и прыгали белые, закрученные космы его бороды.

– О, мое сокровище!.. Тот час, когда я впервые увидел тебя слабым и беспомощным на руках твоей матери, не был для меня так сладок, как этот, когда я снова прижимаю твою прекрасную голову к своей груди, – говорил Цирельман нараспев, рыдающим голосом.

Но чернобородый мужчина оставался непоколебимым. Он не вынимал рук из карманов и, пропев без всякого выражения свою реплику, отворачивался в сторону, сплевывая и со скукающим видом обводил зрителей наглыми, воловьими глазами. Впрочем, и по пьесе, представлявшей собою нечто вроде еврейского «Короля Лира», следовало, что сын вовсе уже не так был рад свиданию с отцом. Дом его переполнен уважаемыми, богатыми гостями, сон которых нельзя тревожить ради пришельца. Кроме того, Абрам недавно женился на красивой, знатной, изнеженной женщине: ее, наверно, стеснит неожиданное посещение оборванного, больного старика. Пусть отец уходит назад, в свой родной город. Там его знают, там его должна поддерживать община.

Между отцом и сыном происходит драматическое объяснение. Сын – человек нового поколения, он беззаботно относится к строгой вере предков, не исполняет священных обрядов старины, в его черствой, коммерческой душе нет уже места для нежных и благодарных сыновних чувств. Он с утра и до вечера трудится, промышляя кусок хлеба для себя и для семьи, и не может делиться с лишним человеком. Нет! Пускай отец возвращается назад, в свой родной город: здесь для него не найдется угла!..

Обо всем этом второй актер сообщал с полным равнодушием, медленно покачивая туловище налево и направо. Но Цирельман уже не нуждался в его поддержке. С каждой фразой его голос крепнул и в нем все сильнее, как рокот металлических струн, трепетала древняя, мно-

говековая библейская скорбь, которая, точно плач по утерянном Иерусалиме, рыдает с такой неутолимой и горестной силой во всех еврейских молитвах и песнях.

– О, горе, горе мне! – стонал Цирельман, и его протянутые вперед руки тряслись, и длинная белая борода вздрагивала. – Плюнь в мои седые волосы, брось грязью в мое старое лицо!.. Зачем я родил тебя!.. Кто на свете испытал горе, равное моему?..

Глаза его широко раскрылись и выкатились наружу из орбит, а белки их налились кровью и слезами, побледневшие губы искривились, голос то опускался до хриплого, трагического шепота, то переходил в срывающиеся вопли, похожие и на завыванье и на кашель. Конечно, эта декламация была преувеличена и, пожалуй, даже нелепа, но зрители были так увлечены и очарованы драматической сценой, что незаметно для самих себя повторяли все исступленные движения Цирельмана. Они сжимали кулаки, когда актер бил себя в грудь, и нервно потряхивали головами, когда он в отчаянии размахивал своей ватной бородой. Их одинаково волновали и страстная игра Цирельмана, и трогательность старого, давно знакомого сюжета, и отголоски священного плача, звучавшего в речитативах.

Старик понял наконец, что, найдя сына, он в то же время потерял его.

– Я уйду навсегда из твоего дома! – выкрикивал Цирельман, задыхаясь, и его тонкие, длинные пальцы судорожно рвали ворот лапсердака. – Я уйду и не призову на твою голову отцовского проклятия, которому внимает сам Иегова; но знай, что со мною уходит твое счастье и твой спокойный сон. Прощай, Абрам, но запомни навсегда мои последние слова: в тот день, когда твой сын прогонит тебя от порога, ты вспомнишь о своем отце и заплачешь о нем...

Цирельман давно уже кончил, но зрители все так же молча, неподвижно и напряженно, затаив дыхание и полуоткрыв рты, глядели на него. И так велико было очарование этих бедных, простых и горячих сердец, что они с трудом опомнились только тогда, когда Цирельман, спокойно и заботливо сняв усы и бороду, спрятал их в карман и медленно стал стаскивать с плеч заплатаанный лапсердак. Говор, смех, восклицания и стук сразу хлынули со всех сторон и наполнили погреб. В эту минуту каждый зритель позабыл о том, что Герш Цирельман – пустой, ни к чему не способный человек, представитель презираемой профессии, старый пьяница, которого из-за его порока не держали ни в одной труппе. В черных глазах, устремленных на него отовсюду, блестел искренний, еще не успевший простыть, признательный восторг.

Без костюма и грима Цирельман оказался невысоким, коренастым человеком, с бритым, старым и желтым, точно изжеванным, актерским лицом и курчавыми волосами, на которых седина лежала сверху, как будто они были припудрены. Глаза под взъерошенными, неровными бровями были почти без ресниц и носили суровый, беспокойный и печальный оттенок, присущий взгляду привычных пьяниц.

Айзик Рубинштейн, хозяин погреба, толстый, веселый и чувствительный плут, был расстроган больше других. Со смеющимися, но еще мокрыми от слез глазами, он похлопал Цирельмана по плечу и сказал:

– Очень хорошо, прекрасно исполнено! Вы, Герш, имеете получить с меня двадцать грошей за представление. Но я знаю, что вам будет приятнее иметь полкварты белого вина, которое вы всегда требуете. Считайте его за мною!

С тарелкой в руках Цирельман обошел все столики, и каждый зритель бросал ему копейку или две, добровольно оплачивая только что пережитые сильные ощущения. Те, у кого не было мелочи, клали дешевые папиросы. Даже известный своей скупостью Меер Ковалев, богатый шмуkler¹, положил на тарелку пятак.

– Видите, Герш, я ложу вам десять грошей, – сказал он торжественно, – и беру сдачи... одна... три... четыре... Смотрите, я беру назад восемь грошей... А одну копейку вы можете оставить себе. Вы отличный актер, Цирельман!

¹ Шнуровой мастер. (Примеч. А. И. Куприна.)

Все дружелюбно улыбались Гершу, обнимали его за спину и трепали по плечам; многие звали его присесть к своим столикам. Глаза Герша были еще красны, а на висках и на конце носа стояли мелкие и круглые, как бисер, капли пота; но нахмуренное лицо его хранило отчужденное и высокомерное выражение, свойственное настоящему художнику, только что пережившему сладкую и тяжелую минуту вдохновения.

II

Отсчитав своему помощнику (который в обыкновенное время состоял подмастерьем резника) четвертую часть сбора, Цирельман сел в углу, около входа, за освободившийся столик и спросил вина. Первый стакан он выпил с зажмуренными глазами, не отнимая рта, и такими жадными, большими глотками, что у него даже сделалось больно внутри горла. Потом он налил второй стакан, но отставил его от себя и, сгорбившись на стуле и положив ногу на ногу, закурил папиросу.

Цирельман ждал. Вытирая вспотевшее лицо красным дырявым платком, он часто оглядывался на дверь, которая то и дело хлопала на блоке и дребезжала своими стеклами, впуская, вместе с новыми гостями, стремительные клубы белого морозного пара. Простосердечные зрители, только что наивно волновавшиеся вместе с Цирельманом, теперь совсем забыли о нем, и он сидел раскисший, усталый, охваченный знакомой ему тоскливой и рассеянной пустотой, которая в былые дни наполняла его душу, когда он оставался один после спектаклей. Он глядел мутными, неподвижными глазами на блестящий край стакана, между тем как углы его набрякших век опустились, а от концов больших изогнутых губ легли вниз две брезгливые складки.

Шум в погребе рос. Уже не было слышно отдельных голосов, а, казалось, гудело все: и стены, и столы, и люди, и синий от табачного дыма воздух. Этот однообразно-пестрый гул, то падавший, то опять плавно подымавшийся, был похож на движение больших качающихся волн. Иногда же неясные и разбросанные звуки вдруг стекались вместе, в одну согласную музыкальную реку, и размеренно плыли под потолком, как внезапный отрывок неведомой и сложной мелодии. И сухое щелканье костяшек домино сопровождало их, точно треск кастаньет.

Вдруг Цирельман оживился и нервно задвигался на стуле. В подвал спускался, бережно и грузно ставя на ступеньки толстые кривые ноги, местный балагула² – Мойше Файбиш. Небольшого роста, но широкий, тяжеловесный и могучий, он был похож на старый дубовый пенёк и весь казался налитым густой апоплексической кровью: лицо у него было страшного сизого цвета, белки маленьких глаз – кровавые, а на лбу, на висках и особенно на конце мясистого носа раздувшиеся вены вились синими упругими змейками. Короткая, жесткая, спутанная борода начиналась у него из-под самых глаз, а на концах, вокруг всего лица, была такая седая и пышная, как будто Файбиш только что опустил ее в мыльную пену.

Файбиш издали увидел Цирельмана и сделал ему бровями быстрый предостерегающий знак. Балагула боком, с неловкой и смешной осторожностью очень сильного человека, пробирався между столиками, задевая за стулья, улыбаясь и тыкая небрежно налево и направо для пожатия свою руку. Файбиш пользовался в местечке, несмотря на свой не особенно высокий балагульный промысел, значительным и довольно веским почетом. Он был известен – хотя этого и не говорили открыто – за смелого, предприимчивого контрабандиста. Передавали шепотом, что много лет тому назад, спасаясь от преследования конных пограничных стражников, он застрелил солдата, и хотя потом судился по подозрению в убийстве, но был отпущен на свободу за неимением настоящих улик. Кроме того, Файбиш был знаменит – и даже далеко за пределами уезда, – своей необычайной физической силой, принимавшей в пылких умах местной молодежи преувеличенные библейские размеры. Провозгласители тостов на свадьбах неизменно сравнивали его с сокрушителем зданий – Самсоном.

– Добрый вечер, Герш! – сказал Файбиш, подойдя к столику Цирельмана и протягивая актеру маленькую, негнушующуюся, холодную и мозолистую руку.

² Балагула – экипаж для дальних переездов. Балагулой также называют и хозяина такого экипажа или ямщика. (Примеч. А. И. Куприна.)

– Добрый вечер, – ответил Цирельман. Он почтительно привскакнул на стуле и даже шаркнул под столом ногами. – Садитесь, будьте любезны, – я спрошу еще вина. Как шабашевали? Этот графинчик не в счет; его мне зафундовал Рубинштейн за представление; но я велю принести другой, – хорошо?

– Очень вам благодарен. Так вы давали представление?

– Ну, а почему же нет, господин Файбиш?

– Жаль, жаль, что я не успел. И что же, порядочно собрали?

– Пес!.. паскудство... Но все-таки дали немного торговать... тридцать четыре копейки... За ваше здоровье, господин Файбиш!..

– За ваше!..

Файбиш выпил стакан вина, но тотчас же закашлялся, потому что давно уже страдал одышкой. Во время кашля вся кровь, переполнявшая его массивное тело, кинулась ему в голову; лицо его еще больше посинело, шея распухла, а жилы на лбу и на носу вздулись, как у удавленника. Откашлявшись, он долго, с хрипением и со свистом в горле, отдувался, потом обсосал намокшие в вине усы, вытер их ребром ладони в одну и в другую сторону и, наконец, отрывисто спросил:

– Ну, что же? Не раздумали?

Цирельман вдруг со страшной ясностью почувствовал, что наступил момент, когда он вот-вот должен перешагнуть за какую-то невидимую нить, после которой начнется совсем иная, темная и жуткая жизнь. Он побледнел, наклонился близко к Файбишу и беззвучно зашевелил похолодевшими губами.

– Что за черт! Ничего не слышу. Говорите же громче! – захрипел Файбиш и нетерпеливо ударил кулаком по столу.

– Я ничего... я как вы, господин Файбиш... Что же... Я от своих слов не откажусь...

Говоря эти растерянные слова, Цирельман поглядел на маленькую волосатую руку, которая лежала ладонью вниз на столе, и неожиданно для себя со страхом подумал, что этой самой рукой Файбиш убил пограничного солдата. И, с чувством раздражающей, обморочной слабости в груди и в животе, он залепетал едва слышно:

– Я... я... я не боюсь... Вы меня еще не знаете, господин Файбиш!

– Положим, это вы врете, что не боитесь, – презрительно усмехнулся в свою опененную бороду Файбиш. – Все вы – трусы и сволочь. Вот двадцать лет тому назад, а может быть, и больше, – тогда я был еще молодым и сильным человеком, – тогда был у меня товарищ, Иосель Бакаляр... – Файбиш вздохнул и налил себе вина. – Это был человек! О! мы с ним много сделали хороших гешефтов... Но бросим это! Да. Так, если вы согласны, приготовляйтесь! Сегодня ночью...

– Сегодня ночью... – повторил за ним однозвучно и бессмысленно Цирельман.

– Ну да, сегодня. Я заеду за вами. Но если вам страшно, скажите сейчас! Потом будет поздно. Понимаете?

– Я не боюсь, Файбиш, я не боюсь! – повторил умоляющим шепотом Цирельман, крепко прижимая руки к груди.

Он уже перешагнул загадочную грань и теперь вступал – одинокий, беспомощный и слабый – в таинственный мир, полный ночных ужасов, крови и опасностей. И в этом чудовищном мире была только одна власть – власть сидевшего с ним рядом странного, непонятного, ничего не боящегося человека.

Невольно он оглянулся вокруг себя. На них обоих были со всех сторон устремлены живые, черные глаза, горевшие напряженным любопытством. Но, встречаясь с испуганным, помертвевшим взглядом Цирельмана, любопытные глаза бегло отворачивались и опускались, отчасти от страха перед Файбишем, отчасти из деловой скромности. Это ободрило Цирельмана, и он выпрямил свою согнутую спину. Все эти изворотливые, проницательные люди, без

сомнения, знали, о чем он разговаривал, нагнувшись голова к голове, с Файбишем. И мысль, что на него, всегда несколько презираемого, наконец-то глядят с любопытством, ожиданием и боязливым почтением, что ужасная слава Файбиша окутывает и его, Цирельмана, необычайным, героическим светом, – эта мысль приятно и льстиво ударила ему в голову и изгнала оттуда последние колебания трусости. И он в первый раз взглянул прямо и твердо в маленькие, кровавые глаза балагулы, наблюдавшие за ним с острой насмешкой из-под косматых черных бровей.

– Я не лягу спать, Файбиш, – сказал он решительно. – Постучите мне только в окно, и я сейчас же выйду.

И когда Цирельман поднялся, чтобы уйти, и почувствовал на своей спине десяток жадных, удивленных взглядов, то он вспомнил старое актерское время и прошел вдоль погребов театральной походкой, с выпяченной грудью и гордо закинутой назад головой, большими шагами, совершенно так, как уходил, бывало, со сцены в ролях иноземных герцогов и предводителей разбойничьих шаек.

III

Цирельман и его жена Этля – старая не по летам женщина, изможденная горем и голодной, бродячей жизнью – были бездетны. Они жили на краю местечка, снимая угол у вдовы сапожника, которая, в свою очередь, нанимала за два рубля целую комнату, переделанную из яичного склада. В огромной и пустой, как сарай, комнате, вымазанной голубой известкой, стояли прямо на земляном полу не отгороженные никакими занавесками две кровати: у одной стены помещалась вдова с четырехлетней девочкой, а у другой – Цирельман с женой.

Вдова давно уже спала. Слышно было, как она ровно, громко и свободно дышала открытым ртом. Было темно; только кривые подоконники слабо серебрились от лучей молодого месяца. Цирельман лежал под старым, замасленным пуховым бебехом, рядом со своей женой, и пугливо прислушивался к ночному безмолвию. Этля спала или притворялась спящей; она лежала, повернувшись к мужу спиной, беззвучно и неподвижно, как мертвая.

В сонной тишине, которую равномерное дыхание вдовы делало еще глубже и однообразнее, все ночные звуки приобретали странную, тревожную отчетливость. Потрескивал рассыхающийся комод; возились мыши рядом, в деревянном чуланчике; что-то шуршало в углах по стенам, и все эти стуки и шорохи будили чутко дремлющую тишину и горячими, пугливыми толчками отзывались в сердце у Герша.

Время тянулось скучно, напряженно и томительно-долго. Цирельман не спал, но на него находили какие-то темные полосы, в которые он утрачивал понятие о времени. Он даже не мог уловить, когда начинался момент такого оцепенения; но, внезапно очнувшись, находил себя бодрствующим и недоумевал, что с ним случилось, – спал ли он только что или думал о чем-то, неожиданно ускользнувшем из головы, и сколько времени прошло в этом удивительном состоянии: секунда, пять минут или полчаса?

Зато временами его слух и зрение приобретали необычайную, болезненную остроту. Тогда ему чудилось, что он слышит за окном крадущиеся шаги. Он приподымался на локтях и, чувствуя в груди холод испуга, глядел в окно, и сердце его наполняло всю комнату оглушительными ударами. И он ясно видел, как снаружи, с улицы, большое темное лицо настойчиво заглядывало в комнату, и проходило много мучительных минут, пока он не убеждался, что его обманывают возбужденные нервы.

«Но ведь *это* кончится. *Это* должно же когда-нибудь кончиться, – лихорадочно думал Цирельман. – Придет Файбиш, и окончится это жуткое ожидание... А потом окончится и вся эта ночь, таящая в себе так много неизвестного и ужасного, и я скажу самому себе: «Это было вчера». Неужели я скажу когда-нибудь: «*Это было вчера*») Надо быть спокойнее. Ведь что бы там ни было, но все на свете проходит, и когда-нибудь я скажу самому себе: «Это было месяц, это было год тому назад...» И страха больше не будет, и все опять станет таким простым, легким, обыкновенным».

И вдруг, в один из моментов необъяснимой потери сознания, в окно на самом деле постучали. Стук был осторожен и тих, потому что его производили мякотью пальца о стекло; но он отозвался громом во всех углах, разорвал сонную тишину, и от него сразу посветлело в комнате. Сердце Цирельмана перестало биться, и все тело его похолодело, стало мягким и бессильным. «Это неправда, это мне только кажется», – пробовал он себя успокоить. Но стук опять повторился, такой же тихий и настойчивый; и сердце затрепыхалось так беспорядочно, с такой болью и силой, что, казалось, от его ударов готова была лопнуть грудь.

Цирельман сел на кровати и тут только заметил, что его жена тоже сидит и смотрит в окно. Она была без парика, который носят все правоверные замужние еврейки, – коротковолосая и растрепанная, с голыми руками и шеей, и лицо ее в темноте показалось Гершу чужим,

незнакомым и поразительно белым. И он слышал, как рядом с ним зубы у его жены колотились друг о друга мелкой и частой дробью.

– Стучат! – шепнула Этля. – Одевайся, Гершко, это Файбиш.

Стук повторился в третий раз, и весь дом точно содрогнулся от него. Но Цирельман сидел на кровати, чувствуя, как у него мерзнут и двигаются на голове волосы, и, раздавленный страхом, не мог пошевелиться.

– Что ты себе думаешь, Цирельман? – с испугом и с гневом зашептала Этля, наклоняясь вплотную к мужу и щекоча его ухо горячим дыханием. – Ты безумный или что? Если ты трусишь, то и не нужно было братья. Файбиш найдет другого, а тебе он этого никогда не простит.

Цирельмана в эту минуту нестерпимого страха совсем не удивило, что жене известно то, о чем он условливался с глазу на глаз с Файбишем; но слова Этли подтолкнули его. В одних чулках он подошел к окну и прильнул лицом к стеклу, обгородившись ладонями от мутного света, который шел от снега. С другой стороны окна на него близко и пристально глядело темное, широкое, бородатое лицо Файбиша, с приставленными к вискам так же, как и у Цирельмана, ладонями. Герш торопливо закивал головой и, хотя его нельзя было расслышать через двойные рамы, залепетал с заискивающей боязливостью:

– Я сейчас, сейчас, господин Файбиш!.. Я сейчас... Он суетливо, ощупью стал одеваться. Но ноги его не попадали в сапоги, руки не могли сразу найти пуговиц и петель, и все это было мучительно похоже на бред, в котором совершенно забылось имя Файбиша, а было что-то грозное, неумолимое, не знающее ни страха, ни жалости, что стояло вот тут, рядом, и гнало вперед, и пугало, и сковывало движения.

Он хотел зажечь лампу, но Этля услышала тарахтенье спичек и впотьмах вырвала у него из рук коробку.

– Ша, дурной! – закричала Этля. – Или ты хочешь, чтобы весь базар узнал, что у нас делается?..

Когда Цирельман вышел, наконец, на крыльцо, он не узнал ни своего дома, ни безлюдной, пустынной улицы. Бледный молодой месяц стоял над местечком, освещая занесенные снегом крыши и белые, казавшиеся нежно-синими стены. Его тихие лучи мертвым, дробящимся блеском отражались в черных стеклах окон, точно в открытых, но слепых глазах. Где-то на краю местечка монотонно и гулко скрипел снег под ногами ночного прохожего. Все стало иным, новым, все точно притаилось и выжидательно подглядывало за дрожащим от холода и от страха человеком. И опять Цирельман почувствовал себя вырванным из границ обычной, прочной и спокойной жизни и обреченным на неведомое, полное ужаса существование.

– Что так долго? – спросил сурово Файбиш. – Ну, не торчи же на лестнице, как осел! Садись вот тут, на рожи! Да смотри: под тобой веревки, не запутайся!

У калитки стояли легкие сани, узкие и высокие спереди, но широкие и низкие к заднему концу. Запряженные в них две лошади порывисто мотали головами, косились назад и озабоченно двигали острыми ушами: должно быть, и они чувствовали необычайное настроение этой ночи. Файбиш сел впереди, боком, свесив наружу ноги; а Цирельман поместился сзади в неудобной позе, держась широко расставленными руками за поручни.

«Все пройдет, все окончится», – думал актер; но эта мысль скользила где-то поверху, не проникала глубоко в сознание и не успокаивала.

– Ну, час добрый! – сказал сердито Файбиш, разбирая вожжи.

Полозья пронзительно и жалобно заплакали под санями, и лошади тронулись так осторожно, медленно и беззвучно, как будто бы они боязливо и внимательно прислушивались к каждому своему шагу.

IV

Навстречу саням потянулись белые домики местечка, соломенные крыши и низкие плетни, из-за которых свешивались на улицу белые, облепленные снегом деревья. В тонком свете месяца, в отзывчивой морозной тишине, в безмолвии спящих домов была все та же новая для Цирельмана, грозная, стерегущая жизнь.

Скоро окончились последние лачуги местечка, и Файбиш пустил озябших лошадей рысью. Мелькнула в стороне стройная церковь с зеленой, тускло блестевшей крышей, показалась вдали низкая кирпичная ограда католического кладбища, пробежали мимо жердяные изгороди выгона. Сани выехали на широкую почтовую дорогу, на которой старые следы от полозьев блестели далеко впереди лошадей, точно металлические полосы.

Файбиш поправился на своем сиденье, подбил под себя полы войлочного балахона и повернулся к Цирельману. На лице балагулы, в пространстве между лисьей шапкой и заиндевевшей бородой, только и виднелись два маленьких глаза, и в каждом из них острой, блестящей точкой светилось отражение месяца.

– Вижу я, Цирельман, что с вас плохой помощник, – заговорил Файбиш по-русски. – Эх, был у меня товарищ Иосель Бакаляр!.. Впрочем, что толковать! Слушайте же: когда мы переедем через Збруч и остановимся, вы будете ждать около лошадей. А потом я вернусь, и вы поможете мне увязать товар в рогожи.

– Так. Я понимаю, господин Файбиш. Так, так, – кивал головой Цирельман.

– Смотрите хорошо за лошадьми! Лошади молодые и пугливые, особенно правая. Не выпускайте из рук вожжей! Если будет гармидер (шум), держите крепче!.. Стрелять умеете?.. Цирельман глядел на две яркие, колючие точки в глазах Файбиша и не мог от них оторваться, точно из них исходила какая-то сковывающая власть. Он слышал слова балагулы и держал их в памяти, но не понимал их смысла.

– Я спрашиваю вас, умеете ли вы стрелять из револьвера? Верно, нет?

Цирельман хотел ответить утвердительно. Ему приходилось стрелять раньше на сцене, убивая себя и других актеров холостыми зарядами. Но тотчас же ему вспомнились слухи о том, как Файбиш убил солдата, и в нем шевельнулся ужас, вместе со свойственным всему еврейскому народу наследственным отвращением к крови.

– Нет, господин Файбиш, я не могу стрелять. Я не умею и... и боюсь, – ответил он робко. Файбиш укоризненно покачал головой.

– Це-це-це! – с упреком и с сожалением зачмокал он языком. – Какой вы! Ну, да все равно... Когда мы поедем назад, следите, чтобы веревки не развязались. Если все кончится хорошо, имеете получить с меня пятнадцать кербеле.

– Вы обещали, кажется, двадцать пять... – попробовал несмело возразить Цирельман.

– Эге, двадцать пять! А десять не хотите? Спрашивается, какая мне с вас помощь? Но, ша!.. молчите только! Потом мы будем видеть.

Узкая дорога свернула с почтового шляха налево. Навстречу саням ровной, высокой стеной спокойно приближался помещичий лес, черный снизу, а сверху обремененный снежными шапками. В узком и мрачном коридоре, между двумя рядами толстых сосновых стволов, было темней, тише и теплее. Бледное сияние месяца тонкими, неправильными узорами прорезывалось сквозь густые тени деревьев и местами слабо и нежно серебрило чешую коры. Иногда через дорогу протягивалась, точно огромная рука с растопыренными белыми пальцами, отягченная снегом ветка. Она задевала лошадей по головам и, сделав широкий, упругий размах, осыпала обоих седоков мягким, холодным пухом. По обеим сторонам дорожки, справа и слева, в нескольких шагах от саней, деревья смыкались в черную, непроницаемую массу, в которую страшно было смотреть.

Цирельман лег на спину. Вверху, между зубчатыми ветками, извивался прихотливым путем просвет далекого темно-синего неба с большими дрожащими звездами. Вершины сосен тихо и разнообразно шатались, как будто деревья покачивали головами с различным выражением: одни задумчиво и неодобрительно, другие с угрозой, третьи медленно и важно кланялись. Порою Цирельман закрывал глаза, и тогда ему через несколько минут начинало мерещиться, что сани замедляют ход, потом только вздрагивают на одном месте, и затем он начинал двигаться назад, в противоположную сторону. И хотя Цирельману был с детства знаком этот физический обман, но ему приятно было мечтать, что, по какому-то волшебству, он и в самом деле едет назад, к местечку, и что неожиданно окончится и эта жуткая поездка, и эта бесконечная, тревожная ночь.

Файбиш придержал лошадей, осмотрелся кругом, привстал на санях и вдруг круто, без дороги свернул направо. Лошади увязли по брюхо в снегу, мотая головами и фыркая, и Цирельман слышал теплый, едкий запах конского пота. Старый актер совсем не мог теперь представить себе места, по которому ехал. Он чувствовал себя бессильным и покорным, во власти сидевшего впереди, знакомого и в то же время чужого, непонятного, страшного человека.

Лес окончился. Впереди ровным белым скатом спускался вниз пологий берег реки, которая широко и пустынно простиралась вплоть до противоположного, австрийского берега. На той стороне еле заметно чернели разбросанные здания, и в двух-трех местах красными точками светился огонь. Луны не было видно, – ее закрывал лес, бросавший через всю реку сплошную, глубокую тень. Далеко влево, вся в свету, виднелась плотина, отделенная от снега резкой, тонкой чертой тени. Она тянулась через всю реку, соединяя два государства, и Цирельман знал, что по ней всегда, днем и ночью, ходят солдаты – австрийский и наш.

Лошади глубоко провалились в снег, но быстро и испуганно выкарабкались из него, усиленно мотая головами и храпя. Тотчас же копыта их застучали тверже. По легкому ходу ползьев Цирельман догадался, что сани въехали на лед. Он не сводил глаз со светлой, черневшей своим откосом на снегу плотины и все крепче впивался пальцами в поручни. Файбиш стоял в санях и тоже глядел на плотину. Его короткие руки дрожали от усилия, с которым он сдерживал рвавшихся вперед лошадей.

– А-а-а-а! – пронесся вдруг над рекой высокий, точно стонущий человеческий крик. В нем одновременно слышался и испуг одинокого, затерявшегося среди ночи человека, и угроза. Файбиш, весь перегнувшись назад, натянул вожжи. Лошади заскользили и заскребли по льду задними ногами и стали.

– А-а-а! – повторился стонущий крик. Цирельман увидел, как в одном месте над плотинной голубоватый воздух разорвался в узкую огненную трещину. Что-то страшное, никогда им не слыханное, жалобно пропело у него над головой, и сейчас же вслед за этим звуком глухой грохот выстрела тяжело прокатился по реке.

Файбиш яростно, с необыкновенной силой заскрежетал зубами.

– Все к черту! – захрипел он сквозь стиснутые челюсти.

И вдруг, подняв кверху кулак, балагула выкрикнул во всю мочь легких бешеное, циничное, бессмысленное ругательство.

От сильного и неожиданного толчка Цирельман упал на спину и опять увидел над собой темное, спокойное небо с дрожащими звездами. Лошади летели нестройным галопом, высоко подбрасывая задами; а Файбиш стоял в санях и, наклонившись вперед, без остановки, со всего размаха стегал кнутом. Цирельман обезумел от ужаса. Он вскочил на колени, судорожно оплел руками ноги Файбиша и вдруг, сам не узнавая своего голоса, закричал пронзительно и отчаянно.

– Ой, не бейте меня! Ой, ратуйте! – кричал он, захлебываясь и давясь от плача. – Ой, ой, ой, господин Файбиш! Милый, дорогой, драгоценный Файбиш! Ой, убивают, ратуйте! Файбиш, вы сильный, как бог, вы храбрый, как лев! Ой, ой, спасите меня!

– Пусти меня, черт!.. Оставь! – хрипел Файбиш. Его сильная, жесткая рука комкала губы и нос Цирельмана; но актер мочил слюнями и кусал его пальцы и, вырывая из них на мгновение рот, кричал все громче и безумнее и крепче прижимался лицом к шершавому балахону и к сапогам Файбиша. А лошади все неслись, заложив назад уши, и торчавший из-под снега прошлогодний камыш хлестал по бокам саней.

– Молчи, собака!.. Убью! – рычал, задыхаясь от борьбы, Файбиш.

Ему удалось свободной рукой вытащить из кармана балахона револьвер. Он взвел курок и ткнул дулом в лоб Цирельмана.

– Слушай, подлец... я выстрелю! – гневно пригрозил балагула. – Замолчи, или я выстрелю, черт бы тебя побрал!

Но актер не переставал кричать и цепляться за ноги Файбиша. Ужас, овладевший им, совершенно помрачил его рассудок и сковал память. Он не помнил, как Файбиш колотил его стволом револьвера по голове, не слышал его угроз и очнулся только тогда, когда после жестокого удара ногой в спину он покатился боком по льду, сметая своим телом снег.

Он сел и тотчас же замолчал. Возле него возвышалась густая стена камыша; сухие высокие стебли, волнуясь и шелестя, то наклонялись все разом к нему с участливым любопытством, то отшатывались в испуге назад. Сидя на льду и упираясь в него ладонями, Цирельман оглянулся вокруг себя. Дикого, звериного ужаса уже не было в его душе, – его увозил с собою Файбиш, лошади которого глухо и вразброд стучали вдали копытами, – но было удивление, грусть и чувство беспомощного одиночества. Цирельман упал как раз у берега, вдоль которого шла широкая, избитая подковами дорога. Река делала в этом месте излучину, а стена леса заворачивала назад. За пологим, ровным берегом видно было отсюда огромное белое поле; в конце его, на самом горизонте, тянулась темная полоса дальнего леса. Луна, готовая уже закатиться, стояла над этой низкой, неровной чертой, бледная, точно утомленная, и было что-то невыразимо-печальное и безнадежное в этом пустом, белом поле, в дальнем лесе и в золотистом сумраке, окружавшем усталую луну. И скорбь и сознание своего одиночества все сильнее наполняли душу Цирельмана. Он не сводил глаз с узкого, нежного серпа, прижимал руки к груди и шептал давно забытые слова великой молитвы:

– Шма, Исроэль, Адонаи элегейну, Адонаи хот! Слушай, Израиль, бог наш, бог сильный!

Что-то теплое капнуло ему на руку. Он поднял ее к глазам и увидел черное пятно. Только теперь он услышал боль в переносице, в темени и в подбородке и вспомнил, как его бил по голове револьвером Файбиш. Он взял в руку горсть снега, потер им лицо, и снег стал темным. И долго сидел таким образом Цирельман, унимая кровь. Глаза его, полные слез, были устремлены на луну, готовую сесть, а в груди разливалась большая скорбь. Почему-то вспомнилась ему вся его бестолковая жизнь, скитанье из города в город, пьянство, кривлянье в погребах и трактирах, и эта жизнь представилась ему такой же темной и долгой, как и вся сегодняшняя страшная ночь... Вдруг его ухо уловило далекие, дробные и частые звуки копыт; несколько лошадей тяжело скакали по прибрежной дороге. Машинально, почти не сознавая, что он делает, Цирельман на животе прополз в камыши и растянулся ничком, уйдя лицом в холодный мягкий снег. И тотчас же над самой его головой пронесся, сотрясая лед и бряцая оружием, отряд верховых солдат. Они говорили между собою все разом, резкими, отрывистыми, сердитыми голосами; но слов их Герш не разобрал. Он лежал лицом в снегу и, чувствуя его талый запах, шептал про себя молитву.

Солдаты быстро промчались. Когда топот их лошадей, постепенно теряясь вдали, стал еле слышным, Цирельман поднялся на колени. Но то, что он увидел, заставило его оцепенеть от ужаса. Прямо на него скакал одиночный всадник, вероятно отставший от товарищей. Его огромная худая лошадь неслась тяжелым галопом, вытянув вперед длинную шею с острой мордой и прижатými назад ушами. Она так близко пролетела возле Цирельмана, что тот ясно увидел ее раздувшиеся ноздри и большие глаза, блестящие диким испугом, и ветер от ее быстрого

бега пахнул актеру в лицо. Солдат сидел, нагнувшись вперед, почти лежа на шее лошади. Его сабля равномерно, с металлическим дребезжанием, билась о седло. Но он не заметил еврея, стоявшего на коленях среди густого камыша, и промчался мимо, крича что-то вслед своим товарищам...

Только часа через три, иззябший и обессиленный, добрался Цирельман до местечка. Ночь была теперь так темна, что даже белых стен домов нельзя было различить в ее мраке. Цирельман уже повернул в свою улицу, как сзади него заскрипели полозья.

Одним прыжком очутился актер в глубокой, занесенной снегом канаве и прижался к плетню.

Это возвращался избегнувший погони Файбиш. Лошади его были покрыты пеной и дышали часто и прерывисто. Острые глаза старого контрабандиста различили съезжившуюся в темноте фигуру. Он придержал лошадей и окликнул вполголоса:

– Эй! Кто здесь прячется у забора? Это ты, Цирельман?

Герш затаил дыхание и еще плотнее прижался к изгороди.

– О, свинья! Трус! Предатель! – злобно зашипел Файбиш. – На же, на!.. Получи!.. Кнут резко свистнул в воздухе. Файбиш бил широко и размашисто, тем движением, каким он обыкновенно стегал собак. Но Герш быстро повернулся к балагуле задом, сгорбился, спрятал шею в плечи, и жестокие удары пришлись ему по спине и по рукам.

– Будь ты проклят, трус, гадина! – бросил ему напоследок Файбиш, трогая лошадей. – Если бы не осечка, ты бы теперь валялся на реке, как дохлая собака!..

Через четверть часа Цирельман уже лежал под теплым бебехом рядом с Этлей, которая спала или притворялась спящей. Но холод долго не выходил из его назябшегося за много часов тела, а ноги были ледяными и точно деревянными. Когда же тепло окончательно проникло в его грудь и живот и он вспомнил сегодняшнюю дорогу, и острый блеск в глазах Файбиша, и выстрел с плотины, и печальную луну над лесом, и солдата, мчавшегося, точно библейское видение, на огромной лошади с вытянутой шеей, – то ему показалось невероятным, что это именно он, а не кто-то другой, посторонний ему, испытал все ужасы этой ночи. Вспомнилось ему также, как он убеждал самого себя, что должна когда-нибудь окончиться и эта ночь, и эта поездка... и, с удовольствием ощущая живую теплоту, шедшую от тела Этли, он сжался в комочек и засмеялся под бебехом тихим, радостным смехом.